

*Светлой памяти моей мамы  
Ефросиньи Матвеевны  
посвящается*

***Лариса Мазуркевич***

***История одной жизни***

Горловка  
АДИ ГОУВПО «ДОННТУ»  
2017

ББК 33(07)  
М139

Мазуркевич Л. История одной жизни / Лариса Мазуркевич. – Горловка: АДИ ГОУВПО «ДонНТУ», 2017. – 119 с.

ББК 33(07)      © Л.А. Мазуркевич, 2017

## *Предисловие*

Поистине правду говорят: если человек талантлив, то он талантлив во всем. И ярким подтверждением этой истины является появление вслед за двумя поэтическими сборниками повести Ларисы Мазуркевич «История одной жизни». Эта пронзительная повесть-повествование посвящена светлой памяти ее мамы Ефросиньи Матвеевны.

Написанная от первого лица, в жанре воспоминаний, она представляет собой искреннюю исповедь, исповедь женщины-труженицы, вынесшей на своих плечах все тяготы и невзгоды, которые пришлось испытать и пережить Ефросинье вместе со своим народом и страной. Можно сказать, что вся предвоенная, военная и послевоенная история нашей великой когда-то страны прошла через ее душу и сердце, вместив в себя и трудовые будни, и тихую радость семейной

жизни, и трагические страницы Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в небольшом поселке Поныри, неподалеку от Курска, вернее между Курском и Орлом...

...Тянется нить воспоминаний, разматывая клубок прожитой жизни, и со страниц повести встают и зримо оживают эпизод за эпизодом...

Особенно впечатляют страницы, где описывается поле битвы после танкового сражения неподалеку от Поньрей летом 1943-го, когда жителей поселка вывели на поле для захоронения трупов. Нельзя без волнения читать эти строки. Кругом смерть, страшная и непоправимая: изуродованные трупы совсем еще юных солдат, плач и причитания женщин; вот залилась горячими слезами и зашлась криком в неутешном горе мать, узнавшая в убитом танкисте своего старшенького, который в первый же день войны встретил врага на границе. То поле, как пишет автор, «было

вкрай напоено кровью наших защитников и нашими слезами...»

У повести нет какой-то четкой и застывшей структуры: женщина-мать неспешно вспоминает, иногда не совсем последовательно, следуя за мыслью, останавливается на каких-то событиях, как важных, так и незначительных. Но именно этот художественный прием и придает повести настоящую достоверность и правдивость, даже какую-то необъяснимую задушевность. Словно сидишь в домашнем кругу, у горящего камина, и слушаешь неспешный, проникновенный и совершенно бесхитростный рассказ пожилой женщины о ее жизни, – такой тяжелой и все же счастливой...

Написанная ярким колоритным языком, с народными оборотами и диалогами, повесть легко читается и принимается сердцем.

Нашему молодому поколению будет очень полезно и интересно про-

честь эту пронзительную повесть и  
узнать Правду жизни из первых уст...

Пожелаем автору повести Ларисе  
Мазуркевич дальнейших творческих  
успехов. В добрый путь!

*И. Гречко, канд. ист. наук*

## *От автора*

Повесть, написанная мною, не является биографической, хотя и основана на реальных событиях жизни конкретных людей. Я не ставила своей целью описать хронологически жизненный путь своей мамы. Однако эти эпизодические истории – воспоминания моей мамы – и дают возможность воссоздать целую эпоху. Те испытания, которым подвергался наш народ в разное историческое время, и которые переносила вместе с народом моя мама, ее семья.

События, описанные в повести, не являются исторически незыблемыми. Присутствует в ней и определенный художественный вымысел, не являются исторически точными диалоги героев повести. Однако мне очень хотелось познакомить в первую очередь своих детей с судьбой их бабушки, с особенностями того времени, показать на примере простых людей их веру в

лучшее, в победу своей Армии и своего народа в годы Великой Отечественной войны. Армия в те страшные годы нечеловеческих испытаний для всей страны не представлялась никому чем-то абстрактным. В каждой семье ждали с фронта вестей, потому что из каждой семьи кто-то ушел защищать свою Родину. Это было время великого единения людей огромной многонациональной страны. Защищать Родину было единственной потребностью каждого советского человека в те годы. Высокий патриотизм был в сердце, а не в «пропаганде».

Хочу, чтобы наша молодежь поняла, что это не просто пафос, не просто высокие слова. Это – Правда жизни. Это действительно было настоящим.

В условиях разрушения исторического сознания общества, искажения истории и реальных событий, пусть эта маленькая повесть явится

свидетельством подлинной исторической действительности.

Повесть написана от лица моей мамы – Ефросиньи. Она вспоминает прожитые годы, свою судьбу, которая сложилась достаточно трудно. Да и было ли кому в те времена легко? Тогда большинство людей жили так же, как моя мама, ее семья...

***История  
одной жизни***

Подходят к концу дни моего пребывания на этом свете. Осознаю тяжесть своих лет, но смерть не тороплю. Все, что дается Богом, принимаю с покорностью своею бунтарской душой. Мой удел теперь – одиночество и мои нескончаемые думы о прошлом. Мои дети заняты выживанием своих семей в это трудное время непрерывных социальных потрясений и экономических кризисов. Наверное, каждому поколению выпадает свой крест, который следует пронести без ропота и не утратить человечность. Я лежу и размышляю в долго тянущиеся часы дней и ночей, вспоминаю прошедшие годы и вновь переживаю те события, к которым была причастна и которыми была наполнена моя жизнь.

Я была вторым ребенком в семье Варвары и Матвея, ладной и работающей молодой пары. Хоть и женились не по любви, однако мир и счастье семейной жизни оберегали и хранили, потому и дети рождались же-

ланые. Восемь детей росли на радость и утеху в старости. С ними связывали свое будущее и надежды. Не оглядывались назад и не ожидали помощи от своих родителей. Матвей был из семьи сапожника, унаследовав от отца мастерство и изящество этой нужной профессии. В новую семью только и принес свои работающие умелые руки. А Варвара росла в зажиточной семье помещика Токарева Никифора вместе с матерью да двумя сестрами. Девчата у Никифора были настоящими красавицами: стройные, высокие, с легкой походкой и строгим характером. Сватались к ним знатные люди, да Никифор гордовито нес себя с ними и не с каждым хотел говорить на эту тему. А потом, видно, бес попутал. Запил Никифор по-черному. Бывало, возвращается с покупками с базара и в приступе какого-то безумия (иначе и не скажешь), проезжая по подорожному селу, начинал одаривать тем, что купил для семьи, встречающих

женщин, угощать мужиков, а то и просто разбрасывать по сторонам свои покупки:

– Вона, смотри, как Никифор-то гуляет! Берите все! Ничего не жалко!

Смеялись люди, потешались над его безумием.

Так, в пьяном угаре, и промотал Никифор все свое состояние. Всего и земли-то оставалось несколько десятин. А тут и дочери на выданье, да теперь не очень-то и спешат сваты от знатных родов. Закручинился Никифор от неисправной беды:

– Вот что, доченьки. Простите, если сможете, а придется вам выходить замуж за того, кто первый посватает. Бесприданницы вы у меня. – Горько плакал и все чаще прикладывался к чарке.

Так и довелось красавицам выходить не по любви замуж, а за тех, кто не требовал приданого. А повезло только Варваре: Матвей был хорошим

мужем и отцом. А вот Прасковье да Аксинье куда хуже пришлось. Аксинье достался совсем никудышный: маленький, корявенький, да еще и пьяница. Увез он ее на далекую Украину, где имел небольшой гостинный двор, которым она и занималась. А сам – в разгул. С утра до вечера мог в трактире просидеть. Придет за ним вечером Аксинья, а он злой:

– Чего пришла, бесприданница? Кому ты нужна? Вот я тебе! – замахивается.

А Аксинья ничего, молча стоит и смотрит. Еще пуще муженек ругается. Вскакивает, кидается на нее с кулаками, прыгает, беснуется. Выждет Аксинья, когда он угомонится, возьмет его в охапку, да и несет домой. Недолго, правда, зажился муж на свете, оставил Аксинью с дочерью выживать. Да она не растерялась. Хоть и тяжело было, да не бросила она мужнино наследство. А потом уж, как Советская власть пришла, да на шахту

стали массово приезжать из родных мест на заработки мужики, Аксинья и вовсе ожила, сдавая им комнаты и обустроивая их быт: постирать, кушать приготовить, полы вымыть, прибраться. Бывало, и девчат нанимала на работу, когда сама не управлялась.

Мне-то тоже как-то пришлось поработать у нее. Семья переживала трудные дни, мне как раз исполнилось шестнадцать, вот и отправила меня мама к своей сестре на заработки. Тетка Аксинья была строгая, спуска не давала. Но я благодарна ей безмерно и за науку ее, и за поддержку. Бывало, мою полы в комнатах, а она примечает да наставляет: как и чем мыть полы, как их скоблить до белизны (полы-то некрашенные тогда были), да чтоб все уголки и плинтуса были чистыми. Считаю, она-то и приучила меня к той чистоте и аккуратности, к тщательности и терпению, к тем каче-

ствам, которые я в дальнейшем старалась привить и своим дочкам.

Прасковья вышла замуж в деревню за беспросветного лодыря, у которого хата была да десятина земли. Всю свою жизнь он не любил работать, но в деревне и не очень-то посидишь, если хочешь иметь достаток. А тут он прослышал, что в Донбассе, где Аксинья жила, на шахте хорошо зарабатывают. Вот и поехал на заработки. Трудный был человек, всем и всеми недоволен, на работу собирался каждый раз с проклятьями Сталину и Советской власти, шел работать, как на каторгу. Конечно, недолго он продержался там. Вернулся к себе домой, где больше на печи лежал да на солнышке выгревался. А Прасковья, имея веселый покладистый характер, трудолюбивая и безотказная в помощи людям, сама как солнышко для всех была, в единственной дочке души не чаяла. Всем занималась: и по хозяйству, и в

поле-огороде, и со скотиной. Слыла в окрестных селах травницей, никому не отказывала в лечении. Умела унять боль не только у человека, но и у животного. Умела преодолевать разные хвори-недуги. Умела и кости править, и массаж сделать. Любили ее люди. Да вот беда, как-то возвращалась она полем из соседнего села, уж и до дому недалеко, а тут, откуда ни возьмись, бык разъяренный навстречу. А ей и деваться некуда. Поломал ее бык, пока люди подбежали. Да так он ее изломал, что потом всю жизнь ходила, согнувшись и чуть до земли лицом не доставала. А вот характером оставалась прежней. И, несмотря на свою беду, продолжала жить, как жила. А муж тоже не сильно унывал: все на печи да на солнышке. Так и жили. Были времена, когда даже своей сестре Варваре помогала выживать перед самой войной после смерти Матвея. А потом силы стали покидать и ее. После войны Прасковья как-то сдала

сразу, а муж как всегда не был ей помощником. У всех уж хаты железом да шифером крыты, а у них – все под соломой. Много ли могла заработать своим трудом Прасковья. Это потом уж после войны, когда дочь Нюра подросла да зятя в дом приняли, он-то и занялся всем – работающий оказался. Нюра расцвела, дочь родила, жизнь налаживаться стала. Да однажды случилось несчастье. Затеялся зять новую избу срубить, да сил не рассчитал, надорвался. Умер муж у Нюры. И снова семья оказалась на грани выживания.

Из своего детства я мало чего помню. Но моя память сохранила любовь моего отца ко мне. Хоть и трудно жили, а баловал он меня, чем мог. А уж туфельки шил мне всегда модельные. Я рано научилась у двоюродной тетки шить одежду, поэтому платья сама себе шила такие, какие хотела. А при моей ладно скроенной фигуре отцовы туфельки и мои платья делали

меня просто неотразимой. Иногда, правда, хотелось мне обуться так, как и моя подруга, которая только лишь на праздники имела простые сандалии. Как-то раз я и попросила отца сшить и мне к празднику сандалии. Долго он меня отговаривал:

– Что ты, доченька, не нужны они тебе. Давай лучше я сошью тебе такие туфельки, каких и у царевны не было.

– Нет, – заупрямилась я. – Хочу сандалии.

– Да не будешь ты их носить, – уговаривал отец.

– Все носят, и я хочу такие же.

Не мог отец отказать своей любимице. Сшил он мне к Пасхе сандалии. Обула я их, и пошли мы в церковь в соседнюю деревню. Идем, а я все смотрю, как на моих ногах сандалии смотрятся. И понимаю, что никогда я их больше не одену. Впору было домой возвращаться переобуться: так некрасиво выглядели мои ноги в них. Отец, видно, знал, что не понрав-

люсь я сама себе в этих сандалиях. Тайно от меня он сшил к этому празднику и красивые туфельки, взял их с собой. Видя, что я расстроилась и стараюсь как-то прятать свои ноги от всех, он и говорит:

– Фросенька, а ну, дай-ка я посмотрю сандалии-то: что-то вроде я шовчик неудачно в одном месте положил. А ты пока переобуйся вот в эти туфельки. Хоть и очень тебе хочется в сандалиях идти, да негоже мне, сапожнику, чтобы в моей обуви некрасивые швы были.

Очень я ему благодарна была, хоть и не заметила тогда его хитрость. Позже я уже никогда не надевала сандалии. Всегда любила красивую обувь.

Говорят, красивая я была. Рано начали заглядываться на меня парни, да только мне было не до них. Очень уж мне хотелось иметь достаток в семье, я пыталась зарабатывать деньги,

чтобы собрать себе достойное приданое, потому что надеяться на родителей не приходилось. Бралась за все: и к тете Аксинье ездила, и в услужение к двоюродному дяде, и выполняла заказы на шитье, и покупала-перепродавала гусей и кур у поездов.

Первую свою рубашку шила я своему дяде. Он был весьма зажиточным, богатым, но особенно не сторонился своей родни: как-никак, а именно в работники из своих брал-то. Меня любил, даже помог швейную машинку купить и выделил отрез материи, чтобы сшила ему рубашку. Не побоялся, что испорчу.

А я, помню, страшно злилась на дядю, когда он подшучивал надо мною. Это я сейчас понимаю, что он по-своему любил меня и гордился. Наверное, поэтому-то и заказал он мне сшить ему рубашку-косоворотку. А сам каждый день приходил и все приговаривал:

– Ну, что, скоро уж всю материю на лоскуты переведешь? Не видать мне рубашки-то, белошвейка?

Я сердилась, но молчала. Старалась, как могла. И вот наступил день, когда рубашка была уже готова, и я утюгом проглаживала швы и рукава. В это время на пороге появился дядя. Увидев, чем я занимаюсь, не преминул съехидничать:

– О, портниха гадит, а утюжок гладит. Ну-ка, ну-ка, дай примеряю!

И потом с радостью и удовольствием надел косоворотку, прошелся по комнате, подмигнул мне:

– Ну, как?

А потом и вовсе неожиданно:

– Молодец, заслужила, – и подал мне мой первый настоящий заработок.

И маме:

– Хорошая у тебя девка растет, Варвара. Пусть приходит ко мне в сад поработать. Не обижу.

Не часто приглашал нас, детей, дядя в сад, который манил румяными

наливными яблочками, спелыми грушами и малинником со смородиной да крыжовником. А что слив-то, так им у него в саду, пожалуй, и счета никто не знал. Я тоже любила его сад, где можно было лакомиться фруктами, не отрываясь от работы. Потом уж после революции 1917 года, когда всех богатых раскулачивали, дядя уехал куда-то, а его сад оставался никому ненужным и заброшенным. Всякий пользовался им, да никто не насмеливался ухаживать за ним. Так и стоял сад, старели деревья, зарастали травой кустарники. После войны пытались привести его в состояние парка, да как-то не прижилось и это. Правда, молодежь любила гулять там парами, собирались по праздникам, назначали свидания в «Самофаловском саду». Да школьники из местной школы частенько туда наведывались.

Скачут мои мысли, выхватывают страницы из моих воспоминаний и

уношусь я в давно прошедшие годы: то я еще ребенок и собираюсь в школу учиться; то я уже девушка и в ужасе убегая от первого предложения о замужестве. И все это моя жизнь, хоть и вспоминается эпизодами, какими-то отдельными историями.

Помню, что первый раз в школу я почему-то собралась идти зимой. Два брата уже учились, и мне очень хотелось знать грамоту. Я была шустрой, подвижной и боевой, как говорили люди. Дружила со мной тогда одна девочка. Ростом она была выше меня, да и годами тоже повзрослее. Только очень уж несмелая, застенчивая, забитая какая-то. Во всем я верховодила. Вот и, засобиравшись в школу, ее за собой потянула. Сшила мне мама холщовый мешочек для книг и тетрадей, положила стопку гречишных блинов (сильно на этом мои братья настаивали), да и отправила поутру в школу. Дорога дальняя была, устали

мы с подружкой, но мужественно шли, а где и катились – ребята старались – и дошли до школы. Это был мой первый и последний день в школе. Помню, как в классе ребята посадили нас с подружкой на школьную доску с разных сторон, мол, только так в школу принимают. Вот и сидим мы, ждем учителя...

А тогда доска не на стене висела, как сейчас, а стояла на полу. И все равно неудобно на доске-то сидеть. Но мы терпим. Так уж хочется в школе учиться. А тут и учитель в класс заходит.

– Что это, – говорит, – за куклы у нас появились?

– Мы не куклы, – отвечаю. – Мы в школу пришли записываться.

– А–а. – удивился учитель. – И как вас зовут?

– Я – Фрося. А она – Марфа, – ответила я. – И вовсе мы не куклы, а девочки.

Посмотрел на нас учитель и говорит моим братьям:

– Андрей, Гаврик! Ваша, что ль, сестра Фрося? Яков, – это он уже к брату Марфы, – вторая-то, верно, твоя будет. Ну, снимайте же их да урок начнем.

Как проходил урок, я и не помню. Вспоминается только, что блины мои братья съели, а дорогой домой так нас в снегу укатали, что мама наотрез отказалась еще хоть раз отпустить меня в школу. Так и закончилось мое учение. Однако худо-бедно, но грамоту и счет я одолела. Умела мало-мальски читать да деньги считать. Нельзя было без этого.

Революцию, как оказалось, я совсем никак не помню. Мала была. И то, всего-то годков пять было. Думаю, что после революции в школу ходила. В гражданскую войну запомнилось только, как по дворам ходили какие-то чужие люди, что-то выносили, вы-

возили. Грабили, одним словом. А кто, до сих пор не знаю.

А еще вскоре после гражданской у нас горе случилось: отец умер. Закручинилась мама. Восемь детей, все мал, мала, меньше. Годы трудные, голодные. Помочь некому. И вот решила она обратиться за помощью к сестре Прасковье. Как бы то ни было, а водилась у нее кое-какая живность: и гуси-куры, и баранчик, и свиньи. Немного, а было. И если резали животину, то выбрасывали голову там, кишки. Отправилась мама в деревню, наплакалась по дороге, пожаловалась сестре, договорилась с нею о помощи. Переночевала и отправилась домой. А когда уж возвращалась домой по большаку (так называли большую и главную дорогу тогда) в большой печали и тяжких думах, вдруг обнаружила, что муж-то рядом идет. И все спрашивает ее о детях, да о том, как она живет, как справляется. И так-

то ей стало легко-то. Идут они, разговаривают. Ничего она не замечает вокруг. И вдруг наваждение спало: увидела она себя в глухом лесу, до которого с большака надо бы в сторону далеченько шагать. Да и ночь уже, а она должна бы еще в полдень домой вернуться. И невдомек ей, как же она там очутилась. Да только куда ночью-то. Вот и пришлось ей в лесу ночевать. На рассвете еле на дорогу вышла. А как домой воротилась, так и задумалась: с кем же она повстречалась в дороге и с кем же разговаривала? Да только отошла она тогда от своих тяжких дум, отпустила от себя душу мужа. Хоть и скучала, хоть и трудно было одной детей растить, а больше не давала себе так тужить и печалиться.

А мы в тот день сильно забеспокоились, еле дождались ее. Вот тогда и решили на семейном совете, что пора старшим работать да маме помо-

гать младших поднимать. Андрей на шахту подался, Гаврик с Митей разной работой промышляли, Иван, Шура, Тоня да Витя все больше по хозяйству дома да в огороде, а я начала у поездов торговать. Дело, конечно, не хитрое, но хлопотное и тяжелое. У нас, видишь ли, станция железнодорожная почти рядом была. Поезда все останавливались, в какую бы сторону не ехали. Станция крупная была, как раз между Курском и Орлом. Все поезда заправлялись у нас водой и углем. А в это время пассажиры выходили на перрон, на привокзальный базарчик, чтобы в дорогу чего-либо прикупить. Тогда только ленивый не промышлял торговлею, хоть и гоняла милиция спекулянтов, то бишь, нас. Это сейчас все по-другому. Те же спекулянты, а их уважают, называют коммерсантами, бизнесменами. Тьфу! Суть от этого не меняется. Но то, что нельзя было при Советской власти, сегодня в почете. Так-то вот...

А нам надо было выживать. Я, бывало, по десятку гусей успевала обрабатывать за день, обжарить, напечь пирожков, да и продать. Конечно, отходов не было. Семья-то большая, а от Андрея весточка пришла: женился. Значит, теперь не будет маме от него помощи, свою семью надо содержать. А там и Гаврик с Митей в армию пошли служить, – тоже не помощники. Досталось тогда мне. Целый день как белка в колесе, а ночью бегу покупать гусей-кур, до утра щиплю их (перо и пух – на перину да подушки). И все равно жили внатяжку. А тут и 33-й год, голод. Люди совсем интерес к жизни потеряли. Поговаривали, что в каких-то деревнях даже людей ели. Не скажу, правда это было или нет, но помню, как однажды вечером, вернувшись домой от вечернего поезда, застала дальнего родственника, который с семьей жил в Становом – до села вела верстовая дорога километров на тридцать. Он-то и рассказал, как

трудно выживают люди в селах. К нам пришел переночевать, а утром хотел поискать какую-никакую работу в поселке. Худой, изможденный, дрожащими руками принял от мамы кусок хлеба и залился горькими слезами. А как узнал, что мы выбрасываем отходы от птицы (не успевали мы их обрабатывать) так и затрясся:

– Милые мои! Да что же вы делаете! Лучше мне отдайте и позвольте впредь мне их забирать! То-то мои обрадуются!

Стыдно нам было за эти отходы, а он уговаривает. Согласен хоть каждый день за ними приходиться, преодолевать длинную дорогу. Так и повелось, что мы теперь не только птичьих потроха, но и хлеб стали приберегать для него и его семьи. Поддержали мы их в те страшные голодные годы...

По-прежнему, основная тяжесть по обеспечению семьи лежала на мне. Я продолжала торговать у поездов,

кормила семью, собирала себе приданое. И вот как-то раз не успела я убежать от милиционера. Поймал он меня перед поездом с приготовленными для продажи гусями. Тяжелый вышел разговор. Отвел он меня в участок и обрисовал мое будущее: или в тюрьму, или замуж за него. Что было делать? Хоть и не любила, а пришлось мне за Федора идти. Да и то сказать, тихий он был, любил меня, многое позволял. Только вот спекулировать не позволил, устроил меня работать официанткой в привокзальный ресторан. Красивой и бойкой я была, очень привлекала посетителей, хорошие чаевые давали. Все домой несла, тяготы мамины, по-прежнему, на себя брала. А Федор и не препятствовал вовсе.

Да, не так я себе представляла своего жениха и свою семейную жизнь. Вспоминала, как в Донбассе ко мне сватался начальник шахты. Помню, позвал он нас с теткой Аксиньей к

себе домой. Мол, надо бы кое-какую работу по дому сделать: прибраться, полы вымыть, постирать. Пришли, а у него стол накрыт, цветы в руках. Приглашает нас присесть, угощает. О работе ни слова не говорит. Сейчас-то я понимаю, что с теткой у него уже был разговор обо мне, но она мне ничего не сказала. Сидим мы, то да се, разговоры разговариваем. Он рассказывает, что у него жена умерла, маленький ребенок остался. Надумал, мол, жениться второй раз и очень бы хотел не ошибиться: чтоб и жена была работающая да ребенку б мать заменила. И на меня все поглядывает. Я молчу, не знаю к чему речи такие. А тетка все поддакивает. Встал он из-за стола, зовет нас дом посмотреть. Иду я, замечаю, что дом большой, много уборки. Думаю, что и заплатит хозяин хорошо за работу. А он начинает шкафы раскрывать, показывать, сколько в них женской одежды да обуви осталось от покойной жены. Я такого

раньше и не представляла себе. А потом вдруг и спрашивает:

– Ну, что, Фрося, нравится тебе все здесь?

А я возьми да и брякни:

– Мне-то что, это Вам должно тут нравиться. Вы тут живете.

– А ты хотела бы тут жить хозяйкою?

Засмеялась я:

– Дивные речи Вы говорите.

А он в ответ:

– Дивного ничего в том нет. Выходи за меня замуж, ни в чем не будешь нуждаться.

А мне в то время всего шестнадцать лет было. Я так испугалась, что ничего не смогла ему ответить. Бросила тетку там и кинулась бежать. Бегу-бегу, остановлюсь, представлю себе его и то, как меня его ребенок мамой звать будет, аж ноги подкашиваются от непонятного страха.

Прибежала к тетке домой, не могу одуматься. Все какие-то мысли не-

приятные в голову лезут. Немного погодя пришла тетка.

– Ну, чего ты глупая? Посмотри, какой мужик славный, какой богатый. Выйдешь за него, всю жизнь павой проживешь.

– Нет, нет! Я не хочу за него замуж!

И как она меня не уговаривала, я все на своем стояла. Так и закончилось мое сватовство. А тут пришлось выйти замуж по принуждению.

А там уж и Гаврик женился, Митя вернулся из армии. Незадолго до войны родилась у меня Люся. Вроде и своя семья у меня, а вот не выходило жить только для нее. Да надо сказать, что жили в доме у мамы. А, значит, и весь свой доход и мужнину зарплату все в один кошелек. Не разбирала, где мое, где наше. Да и то, кто же маме помогать будет, кроме меня. Федор все молча сносил, никогда не упрекал ни в чем. Любил, видно, очень и меня, и дочку.

Накануне Отечественной войны мы все еще с мамой жили. Подросла Шура, ей четырнадцатый год уже шел. Мало-помалу помогала по хозяйству. Поднимался Иван, подставлял свои хрупкие плечи под тяготы жизни. В семье у Андрея в 41-м уже четвертый ребенок родился, а у Гаврика тоже мал, мала, меньше – трое детишек. И только у нас с Федором одна Люся оставалась.

Война пришла неожиданно, хоть и часто в последнее время слышали мы об угрозе нападения со стороны Германии. Но как-то не осознавали, что это неотвратимо, и что коснется нас непосредственно. В первые дни войны ушли на фронт Андрей, Гаврик и Митя. Получил повестку и Федор. Но в тот день, когда мы пришли к военкомату, я не совсем поняла, что произошло. Военный на крыльце начал вызывать по списку тех, кому пришла повестка. Тут же командиры строили

новобранцев, которые спешно прощались с родными. Список закончился, а Федора не назвали.

– Товарищ военком, а я как же? – задал он свой вопрос, не снимая своей руки с моего плеча и держа другой рукой Люсю.

– Как фамилия? – поинтересовался военком.

– Юшков.

– Зайдите ко мне в кабинет после отправки новобранцев.

О чем шла речь в кабинете военкома с мужем, мне до сих пор неизвестно. Федор никогда не посвящал меня в свою работу и в свои проблемы. Так и тогда. Только и сказал, что не забирают его пока на фронт. Я и не допытывалась почему. Довольна была тем, что хоть один мужик в доме будет и что не мне, как старшей, придется на себя взвалить все. Да и не было времени особенно задумываться: фронт приближался. Уже первые похоронки стали приходить, и всеобщее

горе не давало особенно задумываться о своих личных бедах. А беда стояла уже на пороге.

Немцы быстро приближались к Донбассу, и жена Андрея – Мария – поспешила с детьми к нам. Оно и понятно: больше ей некуда было деться, поскольку родителей у нее не было, а одной остаться с детьми в тылу врага она побоялась. Да и Андрей с фронта писал, чтобы немедленно ехала в Поньри к его матери, надеясь, что туда война не докатится.

А как стал фронт приближаться и к Поньрям, к нам пришла и Нина со своими детьми: Гаврик тоже считал, что в трудное время только с его мамой можно быть в безопасности. Так и вышло, что наша семья насчитывала тогда семнадцать человек: четыре взрослые женщины, двенадцать детей и подростков да один мужчина.

Федор постоянно куда-то исчезал, возвращался уставшим, измученным,

почти не разговаривал со мной, только каким-то незнакомым взглядом смотрел на увеличившуюся семью, на детей, на меня. Он не успокаивал, ничего не рассказывал, не посвящал меня ни во что. Словом, я вообще ничего не знала о его жизни в то время. Да и не до того было.

Однажды он пришел поздно вечером и сообщил, что вот-вот через поселок пройдут с отступлением наши войска и чтобы никто не выходил на улицу. Никто не спросил и никто не возразил. Все жили в каком-то ожидании чего-то страшного. Но события следующего дня заставили людей и нас пренебречь осторожностью. Горел элеватор с зерном, которое не успели вывезти и не захотели оставить врагу. Люди кинулись выносить зерно и растаскивать его по своим домам. Все осознавали, что самое страшное еще впереди, что надо будет выживать в

голодных условиях неопределенности и ужаса.

Федор, я, мама и Мария тоже побежали к элеватору. Народу было очень много. Мне удалось схватить мешок с зерном и вдоль стены выскокить наружу. Оставив мешок, я кинулась в горящий элеватор снова, но тут увидела, как толпа в середине элеватора сбила Федора с ног, и он никак не может подняться. Я бросилась ему на помощь, с трудом вытащила его из элеватора и оттащила в сторонку. Мешка, который я раньше вытащила, на месте уже не было. Однако я снова вернулась в элеватор. Там все горело. Схватив еще мешок, я кинулась к выходу. На улице я увидела около нескольких мешков какого-то мальчика. Видимо, он их охранял, а взрослые выносили. Я к нему:

– Посмотри, пожалуйста, за нами.

И не ожидая ответа, снова кинулась выносить хлеб. В это время наеле-

тела вражеская авиация, но желание жить и обеспечить семью на какое-то время хлебом пересилило в людях страх. Все происходило, как в аду. Никто ни о чем не думал. Спасали хлеб, спасали себя. Своих я растеряла всех, а когда рухнул элеватор, у мешков увидела Федора. Он пришел в себя и с большим трудом нашел меня в этом ужасе. Долго не раздумывая, я оставила его у мешков и помчалась домой за тележкой. Дома меня ждало не разочарование, а негодование на то, что мама и Мария принесли всего по полмешка зерна домой и остались там, испугавшись бомбежки. Тем не менее, они помогли перевезти спасенный мной хлеб и спрятать его. Забегу наперед и скажу, что этот хлеб в дальнейшем спас нашу семью от голодной смерти, хотя вдоволь его и не было.

Передовая приблизилась вплотную. В саду у нас поставили зенитки. Мы

все попрятались в подвалы и тихо молились. Дети плакали, а мы ничем не могли их утешить. Было невероятно страшно. Вокруг грохотало, свистело, ухало. Земля содрогалась от ударов. И вдруг наступила тишина, которая продолжалась совсем недолго.

А потом в поселок вступили немцы. Долго не наваживались мы выйти на улицу. Первыми, как всегда, мальчишки выскочили. Принесли весть о том, что немцы по улицам, как у себя дома, разгуливают. Врываются в дома, обшаривают сараи, дворы, тащат все, что под руку подвернется. Грабят, одним словом. Кругом развешили свои приказы, где главным словом было «расстрел», который предусматривался за любое нарушение их порядка. Боялись мы, а жить-то надо было как-то. Не знаю, как уж получилось, но бургомистром был назначен мой кум Мезенцев, а одним из полицейских оказался другой кум – Иван Халатов. Помню, что они ушли на фронт

в тот день, когда Федора в военкомате повернули назад. Не знаю, как уж они снова оказались в поселке, но выслуживались перед немцами и никого не щадили. Приходили и к нам, вербовали Федора, рассказывали, какой порядок установили немцы, как ценят их работу и как щедро за это платят. Только Федор сказал, что работать на немцев не будет, а остался потому, что семья без него не выживет, да и болен он. Поверили – не поверили, но особенно и не настаивали. Однако нет-нет, да и придут, чтобы заставить его идти на работы то по уборке трупов, то по топке печей, а то и на дровазаготовки. Угрожали расправой. В первый раз, когда он отказался от таких работ, кум Иван в комендатуре «по-свойски» хорошо его отделал: еле домой пришел. Долго потом отлеживался, отбил он ему что-то, видно. Но все равно его не оставляли в покое. Иногда Федор уходил из дому, взяв с собою кое-какие вещи. Говорил, мол,

надо бы обменять их на продукты, а то маловато еды становится. Не выжить, мол. Оно и правда, продукты на глазах просто таяли. А к немцам он категорически не хотел идти работать.

Немцы привлекали к работе даже подростков, выдавая небольшую пайку продуктов. Иван, видя какие трудности испытывает семья, тоже решил работать у немцев. Тем более, некоторые из его друзей уже работали, выполняя какие-то хозяйственные работы. Но тут мама проявила характер:

– Не пуцу! Твои братья на фронте воюют, а ты тут своим трудом будешь немцев поддерживать?

Подобные разговоры заканчивались криком и скандалом. А однажды мама прибежала домой запыхавшаяся, растрепанная, сама не своя. Свалилась на лавку и зашлась криком, потом вдруг кинулась к Ивану. Кричит, плачет и бьет его, бьет. Мы все сгрудились около них, не пойдем в

чем дело. Потом уж, когда она чуть отошла, поведала нам страшную историю. Возвращалась она домой дорогой, которая проходила близко от Самофаловского сада, как вдруг увидела Ивановых друзей. Они лежали около свежей ямы, некоторые были еще живые, но сильно израненные, кричали, стонали. Немцы сбрасывали их в яму, которую потом закопали. Я до сих пор не знаю, чем провинились мальчишки, но наказание было – муки и смерть.

Не обошлось и без того, что нашлись по соседству две молодые женщины, которые пустились во все тяжкие, убажывая немцев, принимали от них подарки, шоколад, еду. Видя наши страдания, только смеялись издевательски, похваляясь сытостью да подарками. Обе имели маленьких сыновей, к которым особенно не испытывали материнских чувств. Это потом они будут оправдываться, что шли на такое только ради спасения их

жизни. Да только судьба у обоих не сложилась в дальнейшем. Есть Бог на свете! Подросли их дети после войны и уехали от стыда из поселка навсегда. Больше никогда никто из них так и не проведаль свою мать. Может, это и неправильно, но каково было мальчишкам слушать о «подвигах» своих матерей от людей. Стыд глаза не ест, а душа страдает...

А мы жили в подвале, в холоде и в голоде. В нашем доме были немцы, куда иногда полицаи водили Федора топить печь. Помню, что я сильно заболела, и у меня случились преждевременные роды. Помощи ждаль было неоткуда. Рожала там же, в подвале. Помогали мать да Мария. Родила двоих мальчиков, один из которых умер при родах. Другой тоже не зажился на свете: буквально через месяц ушел из жизни. Обоих их хоронил Федор. Я до сих пор так и не знаю, где их могилки. Не до того в то время было. Надо было о живых думать.

По улицам было страшно ходить. Стали появляться слухи, что в поселке действует подпольная организация, а в селе Первые Поныри объявились партизаны. На улицах появились листовки, где сообщалось о положении на фронте, о незыблемости Москвы. Немцы занервничали, стали еще более жестокими. Время от времени полиция и немцы устраивали облавы, пытаясь выловить подпольщиков, но народ просто воспрянул духом: знать, не оставила нас без помощи Советская власть.

Шел 1942 год, зима. На фронте было тревожно. Немцы подошли к Сталинграду. Вся страна понимала важность битвы за город. Немцы распространяли весть о победе под Сталинградом, готовились к победному маршу по его улицам. А люди с надеждой ждали листовки, в которых была правда о настоящем положении города. С какой радостью мы узнали,

что не удалось немцам захватить Сталинград, на защиту которого встали не только войска регулярной Красной Армии, но и рабочие тракторного завода, все жители города. Бои шли не только за каждую улицу, но и за каждый дом. Много там полегло наших, но еще больше немцев. А значительную их часть во главе с генералом Паулюсом удалось захватить в плен. Народ ликовал, все понимали, какой удар был нанесен врагу.

А враг свирепствовал. И наш поселок был все еще под немцами. Ближе к весне 1943-го Федор снова отправился менять кое-какие вещи на продукты. Голод был в каждой семье.

– Пойду на Украину. Говорят, там еще можно найти продукты. – Поделится перед уходом Федор. – Скоро не ждите.

С тем и ушел. Мы уж отчаялись его дождаться, когда он вернулся через месяц ни с чем. Еле переступил порог. Изможденный, на ногах едва

стоит. С трудом добрался до лежанки и свалился. Кинулась к нему, а он горит весь. Кое-как раздела, разула. И только тогда увидела, что от кровоподтеков и синяков места на нем живого нет. Слезы на глаза выступили у меня, а он тихо так попросил:

– Молчи. Не говори ничего. Не пугай детей.

Это уже после освобождения поселка он скупно поведал, что в одном селе угодил к немцам. Там его пытали, били и приговорили к расстрелу. Расстреливать вывел его за околицу немецкий офицер, без обычного сопровождения. Федор уж и с жизнью попрощался, как вдруг офицер заговорил с ним на русском языке.

– Не время, брат, умирать. Не удивляйся ничему. Просто у меня очень важные сведения, которые следует передать партизанам, а связник на связь не пришел. Медлить нельзя, поэтому мне приходится довериться

тебе. Пойдешь от меня с поручением. Выполнишь ли?

Отпустил он Федора, даже не зная, что Федор сам является одним из связных. Потом Федор добирался до партизан, передавал сведения разведчика, не отдыхая, вернулся домой. Что он мог сказать? Да и мог ли.

Пока Федор отсутствовал, немцам стало известно, что мои братья Андрей, Гаврик и Митя воюют на фронте. Больше того, Гаврик уже был майором. Конечно, не обошлось тут без Мезенцева и Халатова. Они-то хорошо знали нашу семью. Как бы то ни было, а именно Мезенцев сообщил, что нас всех готовят к повешению. Нас и еще несколько семей. Не скажу, чтобы мы эту страшную весть восприняли спокойно. Даже дети постарше уже знали, что это такое. Мария билась в истерике, Нина молча плакала, прижимая к себе детей. Ма-

ма, казалось, закаменела в ожидании неизбежного.

– Что ж нас не арестуют? – спрашиваю.

– А зачем? – Издевательски усмехнулся Мезенцев. – Куда вы денетесь с такою оравой? Сидите, ждите.

Мы и сидели. Ждали. А что оставалось нам делать? Федор еще не оправился, на дорогах опасно, из поселка не выйти. И кто сможет подвергнуть свою семью и себя опасности быть уничтоженными, чтобы спасти всех нас. Не дай, Бог, пережить подобное никому. Прошел слух, что в Первых Понырях за подпольную работу против немцев арестовали молодую учительницу, издевались над ней долго, пытали, а потом казнили. Федор места себе не находил. Видно, знал он ее, а, может, и работал вместе с ней. Теперь уж и не узнаю. А тогда и спросить не догадалась.

Спасло нас стремительное наступление наших войск. Когда шла передовая линия наступающих, снова поселок как вымер. Никто не выходил из укрытий. Бой был жестокий. Немцы, отступая, собрали по всем дворам санки, протянули их по улицам и заминировали. Разбросали заминированные предметы, детские игрушки. Много на их ловушках подорвалось тогда и взрослых, и детей.

Когда наши окончательно утвердились в поселке и начали арестовывать предателей, к нам неожиданно прибежал, бледный как полотно, Мезенцев. Мы уже разместились в уцелевшей части своего дома.

– Кума, спаси, не выдай! – взмолился он. – Я ведь вам ничего худого не сделал.

Что тут сделаешь? И жалко его, дурака. И боязно, – ну как немцы вернутся? И то сказать, было уже такое. Три раза уже Поньры переходили из рук в руки: то нашим, то немцам. Вот

и думай, как дальше-то дело обернется. Кругом люди, все видят и все знают.

Когда Мезенцев прибежал к нам, Федора дома не было – в военкомат пошел доложить. А когда вернулся, то уговорили мы его не выдавать предателя. Его и без нас кара небесная настигнет. На том и порешили.

Несколько месяцев прошло в напряжении и ожидании. Знали, что-то готовилось грандиозное. Говорили, под Орлом и Курском стоят отборные немецкие части, которые жаждут взять реванш за Сталинград. Очень уж похожая ситуация, только наоборот. Наши войска тоже накапливали силы, ведя оборонительные бои.

Все понимали, что основное направление в выравнивании Курской дуги – это Поньри. Именно тут предстоит самое тяжелое сражение. Вряд ли что тут уцелеет. Мирных жителей начали эвакуировать в близлежащие

деревни и расселять по уцелевшим домам. Нашу семью разделили и расселили по разным деревням. Мы с Федором и Люсей оказались в деревне Гнилое, мама с детьми – в Верхней Смородине, с нею была и Мария с детьми, а Нина со своими оказалась в Нижней Смородине. Я каждый день навещала их, помогала, чем могла, делилась последним. Как-то не смогла выбраться к маме из-за бомбежки, а когда на другой день пришла, то узнала, что она взяла Витю и пошла по селу побираться, так как в этот день у них не было, чем накормить маленьких детей. Так что, вовремя я тогда пришла.

А тут еще горе у них случилось. Когда началась бомбежка, Мария в ужасе кинулась бежать, а самого маленького Юру, которому три года было, оставила сидеть на кровати в хате. Прибежала туда, где все прятались, а мама спрашивает:

– Юра, Юра где?

Мария кричит, ничего не понимает.

– Не знаю, – отвечает. – Наверное, в хате остался.

– Иди за ним, – настаивала мама. Да куда идти-то, если самолеты одну за другой бомбы сбрасывают. На улице ад крошечный.

После, как улетели немецкие самолеты, вернулись в хату, а Юрочка сидит так же на кровати, уже не плачет, а смотрит на всех прямо не детскими, остановившимися глазами. На всю жизнь остался глухонемым. Видно слишком близко был взрыв от него, но так ли это – никто не знает, а он ничего уже не мог сказать.

И, наконец, грянул июль 43-го. Пятого числа рано утром нас разбудила канонада. Снова все забились по подвалам в тревоге за свою жизнь. Снова в нашем саду поставили орудия, которые непрерывно ухали. Недалеко от Поньрей в поле произошло

танковое сражение. Подобное уже было под Прохоровкой Белгородской области, но там было грандиознее. В бою у нашего поселка принимали участие до пятисот танков с каждой стороны. Когда после окончания боя нас, мирных жителей, вывели для захоронения трупов, мы не могли без ужаса смотреть. Там – два танка сцепились намертво, не отпустив друг друга. Там – на танке в мертвой хватке застыли наш и вражеский танкисты. Там – по танку снарядом раскидало внутренности бойца. Кругом смерть, страшная и непоправимая. И выше смерти только героизм советских солдат, стоявших на смерть у нашего поселка, каких множество в стране.

Тут же то там, то там мы видели изуродованные трупы совсем юных солдат-саперов. Саперный взвод привезли на станцию из далекого Сталинграда на рассвете. Так вышло, что они, практически без отдыха, вступили в бой. Как рассказывали потом

очевидцы и уцелевшие бойцы, саперы не успели заминировать территорию, по которой, предполагалось, пройдут вражеские танки. На рассвете, когда немецкие танки пошли в наступление, саперы ползли им навстречу и бросались под танки с противотанковыми минами. На глазах у немцев они шли на смерть во имя освобождения своей Родины. Такое случилось впервые. Впервые саперы воевали днем. Позже, после войны под Понырями на месте боя отважным саперам поставили памятник, единственный в своем роде. И вспоминая этот бой, заливались слезами бывшие медсестры и уцелевшие бойцы.

Не каждому понятен великий подвиг полевых медсестер, которым было не просто трудно, а невыносимо тяжело среди смерти и крови. Это они ползли под пулями к раненым солдатам на поле боя. Это они поднимали боевой дух оробевших солдат, которые впервые попадали на фронт. Это к

ним тянулись и солдаты, и офицеры: каждому они представлялись теми родными женщинами, что остались дома – мамы, сестры, подруги...

Однажды в поселке праздновали 25-летие освобождения Поньрей от немецко-фашистских захватчиков. Съехалось великое множество фронтовиков, приехали даже генерал Иоффе и маршал Рокоссовский. Идут строем ветераны, на трибуне стоят почетные гости, среди которых и маршал. Звучит музыка. И вдруг на всю мощь динамиков разносится взволнованный голос Рокоссовского:

– Маша! Машенька!

Он покидает трибуну и бежит к ветеранской колонне, где прямая и просто несгибаемая идет, одетая во все черное, с орденом боевого красного знамени, женщина. В поселке никто о ней ничего не знал. Жила она как-то отстраненно от всех, бедствовала со своими детьми, но никогда ни у кого не попросила помощи. А тут,

на глазах всего поселка, знаменитый маршал кинулся к ней, как к самому родному человеку, со слезами счастья от встречи и запоздалой благодарности...

А в тот далекий военный год после битвы в захоронении погибших солдат – и наших, и немецких (лето, жара) – принимали участие в основном женщины. То там, то там, на поле слышался плач, причитания. Каждая вспоминала своего мужа, брата, сына и убивалась над незнакомым пареньком или взрослым бойцом.

За время оккупации люди поизносились, поэтому некоторые, как сейчас говорят, мародерничали: снимали кое у кого уцелевшую гимнастерку, сапоги. Знали, что плохо это, но и детей видеть раздетыми – разутыми сил уже не было. Одна женщина, имея на руках четверых детей, с которыми набедовалась в оккупацию, решила снять сапоги с офицера-танкиста. Са-

поги никак не хотели сниматься. Перевернула солдатка труп, а это сын ее старшенький, который в первый же день войны встретил врага на границе. Ох, как же кричала она! Вдвойне виноватой себя посчитала. Обнимала сына, просила прощения и заливалась горячими слезами, заходила в неутешном горе криком. Чем помочь мы могли ей? У каждой сердце заходило от горя. То поле было вкрай напоено кровью наших защитников и нашими слезами...

В поселке почти не оставалось уцелевших домов. Кое-где лишь уцелевшие трубы торчали да печки, на которых под открытым небом готовили нехитрую стряпню женщины. Люди переселились в блиндажи. Мы тоже всей семьей нашли себе пристанище в немецком блиндаже в своем саду. Мама повесила рамку с фотографиями на стену. Каждый день смотрела на своих сынов и ждала от них ве-

сточки. Ведь мы были уже свободны, и теперь появилась надежда на то, что почта с фронта обязательно будет доходить и до нас.

Но вести не только с фронта приходят. К нам поселились советские офицеры. Стеснили нас, конечно, но очень уж мало было уцелевшего жилья в поселке, потому и расквартировали их по разным местам. Один из офицеров подошел к фотографиям. Долго смотрел, потом позвал товарища:

– Смотри, как на нашего майора похож!

А мама, которая слышала это, подошла к ним и спрашивает:

– А как фамилия вашего майора?

– Гладких Гаврила Матвеевич, мамаша, – ответил офицер.

Мама так и вскинулась вся:

– Сынки, а где ж он? Это же мой сын! Три года не ведаю, что с ним. Сердце изболелось.

А офицеры как-то поникли сразу.

– Недобрую весть мы тебе, мамаша, принесли. Нет его с нами. Недалеко отсюда был он тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Шепетовку на далекой Украине.

И рассказали они маме, как это случилось. Сидели и мы, слушали их, и душа металась в отчаянии: доведется ли увидеть его живым? Нет, не довелось: умер он в госпитале в далеком украинском городе, там и похоронен. Мама потом уж после войны ездила к нему на могилку.

Как сейчас вижу его товарищей и слышу их печальный рассказ. Они спешили в штабной машине вслед за разведкой к Поньям. Немного вырвались вперед и оказались в 10-ти километрах на железнодорожном разъезде. У разбитой будки сидел старик, который при их приближении встал и, поклонившись, снял кепку в приветствии.

– Отец, есть ли немцы в Поньях?

– Какое там! Уж три дня как их там нет!

– Точно? Ты ничего не путаешь?

– Да я вчера только из Поньрей. Точно говорю: нет супостатов там.

И тут майор загорелся:

– Поехали ко мне домой! Тут недалеко. Моя мама такие блины готовит! Всех приглашаю на блины!

– Давай подождем разведку, майор, – пытался отговорить начальник штаба.

– Чего ждать! Тут минут двадцать, если напрямик. Да и дед, видно, не врет.

Словом, уговорил майор своих товарищей. Однако не довелось им добраться до его мамы. Не доехали всего-то метров сто. Попали под перекрестный артобстрел. Машина перевернулась, потому что водитель был убит сразу же. Майор был тяжело ранен. Его в бессознательном состоянии товарищи, тоже получившие ранения, с большим трудом доставили в

медсанбат, откуда он и был отправлен в Шепетовку.

Слушала мама и надеялась. А вскорости пришла весточка от Андрея из госпиталя. Утешал всех, что ранение нетяжелое. А больше всего спешил поделиться радостью: в эвакогоспитале повстречал Митю. Встреча была совсем неожиданная. Андрея только что внесли на носилках в помещение и поставили рядом с другими ранеными. Подошла медсестра уточнить его данные: фамилия, звание, часть. Он отвечает и вдруг слышит:

– Братка, ты! Это я, Митя!

Оказалось, что Митя получил ранение в голову и ослеп. Голова была полностью забинтована, глаза закрыты тоже бинтами. Поговорили братья недолго, началась бомбежка. Медперсонал стал эвакуировать раненых. Андрея подхватили и понесли куда-то. Что было дальше с Митею, он не знал, но успокаивал маму тем, что Митя

жив. Поплакала мама от такого известия, но появилась надежда на лучшее. Да только следом за письмом Андрея пришло уведомление, что Митя пропал безвести. Как его не искала мама после войны, но так и не нашла. Затерялся его след совсем.

После битвы на Курской дуге, к которой и Поньри относились, война пошла на убыль. Немцы после этого вовсе веру в свою победу потеряли, но воевали ожесточенно, отступая все дальше и дальше к своим границам. А с фронта потянулись домой раненые фронтовики, стали заниматься восстановлением народного хозяйства. Жизнь потихоньку стала налаживаться, но все равно приходилось очень тяжело. Выживали, как могли. За войну все пообносились, дети подросли, Шура вытянулась – совсем невеста. Я стала потихоньку брать заказы на шитье. Перелицовывала фуфайки, старые пальто, шила из парашют-

ного шелка блузы и платья, из оставшихся от заказов кусочков-лоскутков комбинировала одежду своим.

Освободили Донбасс, и Мария засобиралась домой. Оставила на маму и Шуру детей, а сама поехала на разведку. Вернувшись, попросила Шуру помочь ей с переездом. Погрузила свои нехитрые пожитки да детей в вагон и поехала с Шурой в Украину. Как только она там чуть обустроилась, Шура приехала домой.

Нина с детьми тоже вернулась в свой, чудом уцелевший, дом, но ей мы продолжали помогать всей семьей. Помню, копали торф и сушили его, заготовливали на зиму. Уголь было не купить. Так, иногда ходили на железную дорогу и собирали там куски угля, который высыпался из вагонов. Но его было мало, вот и заготовливали торф. Нина не помогала. Как-то так случилось, что она вообще не принимала участия в семейном труде, а вот ей всегда все старались привезти и

принести, жалея детей и испытывая вину за то, что Гаврик не вернулся с войны.

В 45-ом забрали на фронт Ивана. Правда, воевать с немцами почти не пришлось. В аккурат перед Победой призвали. Но пороху понюхал, выковыривая бандеровцев из их «схрон» на территории Западной Украины. Рассказывал потом, как было трудно восстанавливать там покой и мир, советскую власть.

Сразу после Победы стали командировать молодежь в Германию для перегона своего скота, который немцы когда-то забрали. Попала в такую команду и Шура. Тяжело довелось девушке и физически, и морально. Но выжила и вернулась домой, на всю оставшуюся жизнь сохранив эти страшные воспоминания. До границы с Польшей, которая была уже освобождена советскими войсками, они добрались довольно быстро, а на гра-

нице их задержали: это была уже чужая страна, для проезда через которую нужны были совершенно по-другому оформленные документы.

Пришлось старшим группы возвращаться домой и заново оформлять выездные и проездные документы. Все это время группа находилась на границе с Польшей. Голодали, спали урывками, боялись провокаций, нападения. И то, правда, что поляки относились с пониманием, поддерживали морально, помогали едой. Однако, вероятность нападения гитлеровских банд, отставших от своих, была велика, как и угроза со стороны бандеровцев, проникавших к границе из Западной Украины. Последних боялись больше. Советские войска уже вели бои на территории Германии, обстановка вокруг была тревожной. Шура в составе посланной за скотом группы людей оказалась тоже в Германии, откуда им доверили перегнать домой пять тысяч голов лошадей. И начался

путь домой: тяжелый, изнурительный и очень опасный. Животные и то не выдерживали: падали от усталости и голода. При упавшем животном оставался кто-нибудь из погонщиков. Следовало ждать: поднимется животное или нет. Если животное после такого вынужденного отдыха поднималось, то вместе с человеком шли в след ушедшему далеко вперед табуну. Чаще всего животное умирало. И тогда погонщику надо было, отрезав для достоверности ухо коня, явиться с ним в местный совет и составить акт о смерти этого животного, после чего спешно догонять свою группу. Вот так однажды пришлось остаться и Шуре около умирающего коня. Страху натерпелась, – не передать. Уж и ночь пала на землю, а она все еще слышит тяжелое дыхание лошади. Никого вокруг, только чужой лес да невдалеке чужое украинское село. Знала, что если попадет в руки бандеровцев, то не выживет. Да и местные

жители не очень-то дружелюбно провожали их взглядом, никогда не вступали в разговор с ними, никогда ничем не помогли. Если приходилось проходить через села, то шли, как под дулом автомата.

– Сижу, – вспоминает Шура, – и душа в пятках. Мне бы отойти подальше от лошади, а я боюсь. И за себя боюсь, и за лошадь, которую могут дорезать и забрать жители или банда. Как тогда отчитываться?

Так и просидела до рассвета, а утром, когда лошадь перестала дышать, за ней вернулись двое из отряда. Документы оформили на павшего животного и поспешили вперед. Домой из пяти тысяч лошадей пригнали едва пятьсот...

Летом того же 45-го заболел тяжело Федор. Больницы в поселке еще не было, но сохранился лазарет в деревне Брусовое, который переоборудовали в больницу. Туда его и отправили на лечение. Я совсем замота-

лась: и дома надо работать, и за детьми смотреть, и беспокоиться о пропитании, и к нему бежать. Не близкий свет – километров 15. Да все бы ничего, только умер Федор. Впервые, наверное, я ощутила, как он мне нужен. Закричала, запричитала. Кому нужна, кто поможет, кто приголубит, кто приласкает? Уж и не помню, кто помогал гроб делать, а только на другой день поутру взяли его на плечи я, мама, Витя да соседка Лиза и пошли в Брусовое. Долго шли. Я все плакала, а мама молчала да вздыхала тяжело. Лиза иногда что-то говорила, да я не слушала ее, уйдя в свои мысли. Молчал и Витя. Не знаю, как и когда мы пришли в больницу. Помню только, что не было возможности нам привезти гроб с Федором в Поньри, а нести на плечах у нас уже не было сил. Так и похоронили его мы в лесочке под Брусовом. Потом искала я то место и не смогла найти. Прости, Федор. Помню я тебя, а сейчас еще чаще

вспоминаю. Не видела от тебя я ничего плохого: не клята и не мята.

Недавно сон приснился: Федор с сыном за мной приходил. Видно, недолго уж мне осталось. А, может, это мои воспоминания навеяли этот сон? Я все больше как-то на грани яви и нави нахожусь в последнее время. Вот и не могу разобрать: сон ли это был? Думаю, что сон: рано мне еще с умершими наяву разговаривать. Да они и не разговаривали, вроде. Просто стояли на пороге дома и смотрели на меня. А я узнавала и не узнавала Федора. Тоже смотрела на них, и сердцем чувствовала, что этот взрослый парень – мой с Федором сын...

Перебираю свои года, как страницы книги, останавливаюсь на каких-то событиях. Иногда важных, иногда незначительных. Однако и то, и другое – моя жизнь.

Отшумел праздником День Победы. Стали возвращаться фронтовики.

Надо было восстанавливать разрушенное войной. Работали все: и мирные жители, и фронтовики, и даже немцы военнопленные. Работали немцы на самых тяжелых работах. У нас в поселке они отстраивали заново железнодорожный вокзал, как и в Курске. Правда, в Курске вокзал получился просто шедевр: большой, высокий, по фронтому крыши – много скульптур. Наш вокзал уступал размерами, но был светлый, уютный и красивый. Позже в вестибюле вокзала один знаменитый художник нарисовал Курскую битву на всех стенах, как панораму.

Жизнь постепенно входила в свою колею. Я снова стала работать официанткой в привокзальной «Чайной», куда приходили обедать строители, приехавшие на восстановление поселка из разных городов. Так вышло, что один из них все чаще стал заговаривать со мной. Их бригада восстанавли-

ливала водонапорную башню. Работали споро, стремились закончить башню как можно быстрее: и поселку была нужна вода, и поездам. И вот как-то Иван, так звали пригожего строителя, завел разговор о том, что я ему нравлюсь и что хотел бы создать со мной семью. Я долго отговаривалась, отшучивалась, но он не отставал. Стал наведываться домой к нам, где мы жили большой семьей. Жили трудно, моего заработка не хватало, а помощь остальных была тоже незначительной. Видя такую беспросветную нужду, Иван как-то принес заработанные им деньги. Расплакалась мама и говорит:

– Ты, Фрось, не смотри на нас. Видишь, мужик какой? Тебе свою судьбу надо устраивать.

Иван перешел жить к нам, начал свой дом строить. Помню, как в первый раз я переступила порог нашего дома, который имел только одну комнату и кухню. Даже сеней или веранды, и то не было. Но это был наш дом.

Иван был работающим, мастеровым, и в дом все нес, но все равно, вроде, как чужой. Все с холодком ко всему как-то. Часто говорил о своей семье, которая жила за Уралом, скучал. Наверное, это и привело к тому, что когда закончила их бригада восстанавливать водонапорную башню и они отмечали ее сдачу в «Чайной», это закончилось подписанием контракта на восстановительные работы, что проходили почти рядом с его домом – на Урале. Ой, как я не хотела его отпускать! И кричала, и плакала. И умоляла, и ругалась. Он только одно твердил, что пьян был, не помнит, как бумаги подписал.

– Не горюй, – говорил, – это все временно. Вот устроюсь там, и тебя туда выпишу.

А я уж на сносях была. Вот-вот должна была родить. Уехал Иван. Я жила в своем доме, а все спешила к маме. Люся подросла, вытянулась, стала резкая, несдержанная. Вместе с

Тоней и Витей в школу стала ходить. Мама на глазах вся высохла, но прямая и гордая. Уважали ее в поселке. И когда кто-либо из детей пытался подработать, то непременно брали:

– Варюхины то дети, помочь надо!

Уж и внуки пошли, но и они были для всех «Варюхины».

В начале мая родилась у меня Зоя. Радовалась я: так на Ивана похожа! И захотелось мне поехать его порадовать. В конце августа засобиралась я на Урал. Ивану сообщила, чтобы встретил. А как приехала, в ужас пришла: в каких условиях они там жили! Дома деревянные, бревенчатые, пазы паклей да мхом заделаны. Народ грубый, без крепкого словца даже в простом разговоре не обходятся. Встретили меня спокойно, даже, как будто, равнодушно. Иван тоже особой радости не выражал. Все больше на работе пропадал. А ночью я над Зоей сидела, да тараканов с клопами от нее

отгоняла. Они-то их как-то не замечали, а нам с ребенком туго приходилось. Но мне очень хотелось семью сохранить, хоть и не расписаны были с Иваном. Дочь записала на фамилию Федора, а вот отчество все-таки Ивановна. Может быть, и смирилась бы я с такой жизнью, может быть, и привыкла бы, да только мама в каждом письме просила, чтобы я быстрее приезжала: Люся, мол, совсем от рук отбилась, не хочет учиться, не слушается, грубит.

Крупно мы тогда с Иваном поговорили. Я все звала его с собой, надеялась, что дочкой привяжу, да, видно, не судьба: наотрез отказался уехать оттуда. А я поспешила домой. Всю дорогу проплакала, а как домой приехала – закрутилась-завертелась в заботах, только письма писала Ивану часто. Да все с упреками и обидами. Он же отвечал редко и все прохладнее, не оправдывался, но уже и к себе не звал. И помчалась я сама туда уже зимой

без приглашения и без предупреждения. А как приехала да в дом вошла, сердце зашло от обиды и негодования: сидит мой Иван и милуется с женщиной, которую на коленях у себя держит. Коршуном я на него налетела, хоть и понимала: опоздала. В тот же день и домой отправилась, навсегда вырвав его из своей жизни.

Да...

Не сложилось...

Но молодость и жизнь свое берут. Когда Люсе семнадцать минуло, а Зое четвертый годок пошел, встретился на моем пути Алексей. Льстило мне, что из всех женщин, которые вокруг него увивались, он меня выбрал. И то сказать, видный был: высокий, красивый, обходительный, веселый, разговорчивый. Работал в МТС бригадиром тракторной бригады. Тогда эта должность очень почиталась.

Восстанавливалось сельское хозяйство по деревням, а колхозы своей

техники не имели, вот и создавались в районах машинно-тракторные станции, где вся техника была собрана и откуда ее направляли в нужное время в колхозы. А Алексей отвечал за исправность этой техники и добросовестность работы трактористов. Умел руководить, ценили его. А уж как он на гармошке играл! Ноги никак устоять на месте не могли. Да и любила я танцевать! Тогда ведь никаких развлечений и не было, а люди тянулись друг к дружке. Душой отходили на таких посиделках после работы. Гармонист хороший на вес золота – душа компании, и в грусть и в радость зовет своей гармошкой. Кому из женщин не хочется в этот миг опустить ему голову на плечо, прижаться к груди и, закрыв глаза, плыть за песней, тосковать и страдать, и мечтать о счастье...

Не устояла и я, когда он заговорил через какое-то время о сватовстве. Помню, пришел с товарищем, тихий

такой, скромный. О себе рассказывал, о семье.

– У меня, – говорил, – никого не осталось. Всех война забрала. Семья, мама под бомбежкой погибли.

И так закручинился, что мне просто жаль его стало.

– Давай, Фрося, распишемся, вместе жить будем.

– Дети у меня, Алексей. Да и не хочется снова судьбу испытывать. Вдруг не получится.

– Доверься мне. Я много чего повидал на свете, много чего умею. Нет у меня легких мыслей. Жить с тобой хочу. А дети не помеха.

Долго, помню, не давала я ему ответ. Все передумала, обо всем вспомнила. И поняла: не выжить мне с детьми в этой круговерти. А мужик дому нужен. Согласилась. Расписались мы с ним, привела я его домой. Люся сразу же засобиралась на Донбасс к Шуру (Шура уже там была замужем), не приняла она моего нового

мужа, не смогла понять меня. Да и в дальнейшем не очень-то она его жаловала, хотя помощь и участие принимала.

Алексей оказался на поверку не только жестким, но и жестоким. Он совершенно по-другому понимал семейную жизнь: полная свобода мужчины и не менее полное подчинение домашней женщины. Для меня это было не только обидная неожиданность, но и оскорбление. Много изменилось в моей жизни. Я его и любила, и боялась. Мне сначала пришлось поменять работу: официанткой работать он мне категорически запретил. Какое-то время я работала курьером в суде, но и это не устроило Алексея. Ревнив был до безумия. Так что пришлось мне бросить работу и заняться домашним хозяйством. Тут еще у меня от Алексея дочь родилась, прибавив хлопот. Болезненная девочка росла, но упрямая и своевольная. Я и вовсе превратилась в домашнюю

женщину. Сказать, что я смирилась и стала бессловесной рабыней, которой можно было помыкать, – так это неправда. Я была по-настоящему хозяйкой в доме, вела хозяйство, распорядилась нашими скромными доходами, воспитывала дочерей. Вот только маминей семье уже почти не помогала. И не только потому, что Алексей был против.

Мама жила с Витей и его семьей. Однако с невесткой я не совсем ладила, потому что видела: обижает она маму, а сын не вступался, подчиняясь жене. Слабохарактерный был, не любил скандалить, но поводов для скандала давал часто. Начал пить, больше добра делал другим людям, которые бессовестно его использовали. В свое время выучился он на товароведа, и должность имел хорошую – заведовал районной товарной базой. Чего только там у него не было, каких только дефицитов не завозилось на его базу!

Только вот домой он ничего не приобрел, все больше просьбы разных районных чиновников выполнял. А они и благодарили его по-своему. У него с того времени появилась присказка: «Сто грамм и огурчик». Очень это не нравилось Зине, его жене. Дома почти ничем не помогал. Она все сама старалась сделать и по хозяйству, и с детьми: двое у них с Витей уже было. Мама совсем уж сдала. Все больше болела, помощи от нее Зине не было. А нелады с Витей стали сказываться и на ней. Молчала бедная, боялась слова сказать. Все больше поддакивала Зине. Начнет Зина ругать Витю, она тоже принималась говорить про него плохое. Сменит Зина гнев на милость, и мама находит для Вити добрые слова. Зина замечала это, посмеивалась. Знала, что маме некуда идти. Бывало, и поколачивала ее невестка.

А мы выживали, как могли. Хозяйство у меня было большое: две ко-

ровы, две свиньи, гуси, куры, кролики, огород. И со всем этим сама управлялась. Как выяснилось, муж мой не очень-то к работе стремился. А особенно, когда ему исполнительный лист на трех детей пришел, да пришлось ему половину зарплаты на алименты детям перечислять, тут он и вообще стал искать такую работу, где б ничего не делать и получать как можно меньше. Мол, не хочу, что б она за мои деньги жила. Обычная логика мужчин...

Так вот, помню, иду я как-то из магазина, а навстречу судья Анна Павловна:

– Фрося, подожди. Тут такое дело. Даже не знаю как тебе и сказать.

– Что случилось-то, Анна Павловна?

– Понимаешь, Фрося, ты выслушай, но не спеши рубить с плеча. – Знала она мой горячий характер.

– Не томите, говорите сразу: в чем дело?

Тут она и поведала мне, что приезжала из соседнего района женщина, назвалась женой моего Алексея и принесла исполнительный лист. Как оказалось, он не развелся с ней, а сразу после войны выправил свои документы, получил чистый паспорт и обманом женился на мне.

Домой неслась, как неуправляемый вихрь, налетела на него с упреками:

– Значит, семью разбомбило? Значит, никого у тебя нет?

– Толком говори, что произошло. Какая муха тебя укусила? – Не поймет он никак.

– Муха, говоришь? А то, что у тебя в соседнем районе жена с тремя детьми объявилась, – это как?

– Объявилась, значит. Ну, что ж. Садись, рассказывать буду. А потом решать будем, как жить дальше. Только учти, я к тебе жить пришел и от тебя не отступлюсь.

Горький то был рассказ. Алексей действительно в соседнем районе до войны в колхозе трактористом работал. Имел семью, где росли дочь и два сына. Младшенький родился, в аккурат, в 41-м году. Мать Алексея тоже жила с ними. Фронт приближался быстро, а на трактористов бронь была: не забирали их воевать, надо было хлеб колхозный спасать. Не успели они эвакуироваться и всей семьей оказались на оккупированной немцами территории, то есть в своем родном колхозе. Сначала Алексей пытался перейти линию фронта. Не удалось. С партизанами связаться не смог. Когда немцы стали на работы сгонять, сказал, что ничего не умеет, кроме как за лошадьми ухаживать. Надеялся, что, если к лошадям приставят, сможет уйти к своим. Да только немцы не сильно верили: глаз не спускали, грозились расправой семье. Запил Алексей. Каждый вечер заливал безысходность самогоном, укорял же-

ну, что не эвакуировалась без него, и теперь нет ему выхода: и на немцев работать не хочет, и их бросить нельзя. Даже как-то бросился на Полину, – так жену звали, – с кулаками. Но мать вступилась:

– Поль, ты не молчи. Ишь, как разошелся-то! Ступай завтра же к бургомистру: пускай его немцы приструнят, чтобы руки не распускал.

А та и послушалась. Наутро пошла в комендатуру немцам жаловаться на мужа. А те в наказание назначили на площади у бывшего сельсовета публичную порку плетями. После этого Алексей больше домой не пошел. Не смог простить Полину за то, что под немецкие плети его отдала. Все искал возможность уйти к своим. И, наконец, ему это удалось.

На фронте смерть обходила его стороной, только холодом в лицо дышала. В звании старшины попал он со своей частью при освобождении

Польши в Варшаву. Проходя мимо местного базарчика, обратил внимание на безногую женщину, которая, раскрыв книгу, предсказывала всем желающим их будущее. Дарила надежду на жизнь, возвращение с войны мужей и сыновей, несла душам успокоение. Люди, чем могли, делились с ней, благодаря ее за теплые слова участия и веры. Остановился и Алексей. Женщина как-то подобралась вся сразу, забеспокоилась, а вот уйти не смогла – ног-то нет – так и застыла в тревожном ожидании.

– Не бойся меня, – Алексей ей. – Лучше и мне расскажи, что со мной будет. Вернусь ли я домой живым с этой войны?

– Сказать-то я могу. А вдруг не понравятся тебе мои слова?

– Ты только правду мне скажи, а там посмотрим.

– Я правду скажу, – поверишь ли?

И тут Алексею на ум пришло спросить ее про свое прошлое, чтобы

проверить: может ли она, в самом деле, предсказывать и видеть прошлое и настоящее.

И стала рассказывать ему эта странная женщина такие подробности его личной жизни, о которых только он и знал да забыть бы желал. Стоял перед нею, готовый сквозь землю провалиться от стыда.

– Ну, что? Сказывать ли дальше или уже о будущем поведать?

Ошарашенный ее осведомленностью, Алексей только кивнул. И поведала «сербиянка», что вернется он живой с этой страшной войны, что будет у него ранение в руку – и тяжелое, и не тяжелое одновременно. И многое еще сказала она ему, да, видно, не дано было всего удержать в памяти. Только вот, когда сбылось ее чудное пророчество, заметался Алексей: что же она еще ему напорочила? И вспомнил самое главное:

– Умрешь, – сказала, – в семьдесят семь лет под чужим забором.

Так и жил все время с таким ощущением. Правду сказала «сербиянка»: умер Алексей в 77 лет. Всего-то и «пережил» ее предсказание на три месяца. В последний перед смертью год очень боялся умереть «под чужим забором» в прямом смысле этих слов. Не мог даже предположить, что иносказательность была в том пророчестве: умер он в больнице...

Да...

Снова скачут мои мысли, не угнаться за ними. Потом уж, как стало известно о его семье, вскорости и мама его объявилась. Интересная была женщина: крупная, по-своему красивая, своеобразная. Про таких говорят: породистая. Сама-то она была из богатой семьи волостного старшины. А замуж своевольно пошла за середняка, по любви вышла. Любил ее Матвей, баловал. Работой ее не неволил. Во всем сам успевал. А она все больше в праздности время проводила: читала,

по подругам ходила, по праздникам разрешала молодежи у них дома вечеринки устраивать (дом-то у них с Матвеем был самый большой, просторный да богатый был на все село). Четырнадцать детей она от него родила, а вот выжили всего трое. Муж рано умер. И она стала все больше к детям тянуться. Вот только из-за своего сложного непримиримого характера никому житья не давала.

Много я через нее настрадалась. Сначала-то она присматривалась ко мне: что да как. А потом стала Алексею на меня наговаривать, а мне – на него. И умела ж найти такие слова, что за живое цепляли! В семье у нас начались скандалы. Уличить же ее в том, что она говорила то-то и то-то, было невозможно. Бывало, нет его во время с работы, а она тут как тут:

– Зря ты, Фрось, вышла за него.

– Это почему же? – спрашиваю.

– Кобель он был, им и останется. Ты знаешь, сколько у него баб-то было до тебя?

– Мне это не интересно вовсе: со мной живет.

– А ты думаешь, что он на работе задержался? Вон, намедни, мне одна говорила, что любовницу Алексей завел. Поспросила б его-то.

Верила – не верила, а слова западали в душу. К тому же она многих его женщин знала да в таких подробностях рассказывала, что разум мутился от обид и ревности.

А свекровь уж Алексею песенку пела про то, что я не хозяйка, к ней, мол, плохо отношусь, его не уважаю. И много еще говорила обо мне плохого. А то выйдет за ворота и просит у прохожих кусочек хлеба:

– Совсем меня со свету невестка хочет сжить. Есть не дает, запирает в доме. Некому пожаловаться. Сын не хочет ничего слышать. Пригрел на своей груди змею подколодную!

Люди-то слушают, сплетни по ветру носят. Дошли они и до нас. Как-то пришел Алексей домой среди дня. Позвал свою маму, посадил напротив себя и говорит:

– Мать! Я долго терпел все твои выходки. С кем не сходился, – все тебе не нравились. Но с Фросей ты меня не разведешь!

– Что ты, что ты! Врут люди-то, а ты слушаешь. Я ничего никому не говорила.

– Знаешь, мать, я не хочу ни во что вникать: говорила, не говорила. Это твое дело. Но только знай: хочешь жить с нами – прекрати свои фокусы; а не прекратишь, то лучше уезжай к дочкам на Кавказ.

И так на нее посмотрел, что она молча собралась и на другой же день уехала к Мане, сестре Алексея.

Но и там свекровь никому покоя не дала. Маню ухитрилась развести с Гаврилом, принялась за Настю – тоже

оставила ее одну с сыном без мужа. А там и дочери у Мани стали подрастать – за них принялась. Надо сказать, очень я жалела Маню: несчастливою она была со своими детьми. Старший сын Андрей, когда у них с Женей подросла дочь Света, охладел к жене и как-то принудил дочь сожителем ствовать с собой. А ей всего-то четырнадцатый годок только-только исполнился. Когда это явным стало, судили его и осудили на 15 лет. Еще от этой беды Маня не отошла, как новая в дом постучалась. Ее красавица и умница Верочка, которой всего-то двадцать два года исполнилось, умерла под ножом хирурга – не могли врачи спасти Веру от гнойного аппендицита. Трагически сложилась судьба и у второй дочери. Зоя вышла замуж за мужчину, который был намного старше ее. Родила от него двух деточек: Сашеньку и Галочку. Очень жестоким был муж, просто садистом. Избивал Зою до полусмерти. Даже уй-

ти от него не могла: боялась. Как-то встретил ее у автобуса:

– Куда собралась?

– Хочу к маме поехать, навестить.

– Жаловаться на меня будешь?

И как только Зоя не уговаривала его отпустить ее к маме, – мол, давно не виделись, проведать бы, – муж был неумолим. Потом вроде согласился.

– Что же ты, – говорит, – с пустыми руками к маме-то? Давай вернемся домой, соберем что-нибудь. Я тебя сам провожу на автобус.

Хоть и страшно было Зое, но пришлось ей возвращаться домой. Дети спали. Долго издевался кат, а потом убил. Хладнокровно повесил едва живую Зою, разбудил детей, ввел их в комнату и заставил смотреть на мучения матери (Зоя еще хрипела в петле), а сам пошел к соседке:

– Горе у меня: Зоя повесилась.

Саше уже восемь лет было, а Гале – всего четыре. Боясь отца-палача, он не сходил с места, только глаза сест-

ренке закрывал, чтобы не смотрела. Так и стояли дети, пока милиция не приехала.

И осталась у Мани только одна надежда – меньшая дочь Таня.

Досмотрела Маня свою матушку, похоронила, поплакала на могилке, Алексею весточку прислала. А через год он поехал на ее поминки. Узнавал и не узнавал места своей молодости. Обошел всю родню, посидели, по-вспоминали. Вернулся ко мне притихший, присмиривший и, как-будто, сам с собой примирившийся.

Но это потом уж было...

Странные сегодня у меня мысли. Вспомнила Маню, зверски убитую Зою, и перед глазами встала послевоенная история, что случилась в нашем поселке. Страшная история.

Как с войны стали фронтовики возвращаться, объявился в поселке видный такой офицер, Николай Терещенко. Вот уж, действительно, с во-

енной выправкой, эдакий молодец! И как-то быстро нашел себе женщину, женился, устроился на работу в милицию. В семье родились дети, подрастали, пошли в школу. Вот только мать их все чахла и чахла, все время болела и болела. Дети в школе тоже все чаще помалкивали, сторонились шумных мероприятий, спешили домой. Сын уж шестой класс заканчивал, когда ЭТО произошло.

Дело в том, что в нашем поселке по осени, прямо как на Полтавщине, каждый год сельскохозяйственные ярмарки проводились. Со всех окрестных деревень и поселков люд валил: покупали и продавали овощи, зерно, живность всякую. Вот как-то раз и приехал на ярмарку мужчина из какого-то села, бывший партизан. Раньше, бывало, тоже приезжал, да только не случалось ему встретить этого Терещенко. А тут видит, идет Терещенко, в милицейской форме, живой-здоровый, довольный жизнью.

Замер бывший партизан: узнал немецкого палача, который в их селе зверствовал. Забыл и зачем приехал, и о времени. Одно только в голове: как так получилось, что этот немецкий прихвостень в милиции работает. Проследил он за ним, да к начальнику милиции пришел с заявлением. Вызвал начальник милиции Терещенко:

– Узнаешь ли ты этого человека?

– А что, мы где-то встречались?

– А ты не помнишь? – Чуть не с криком к нему партизан.

Скривился Терещенко:

– Жаль, не добил тебя тогда.

Арестовали предателя, провели обыск в доме и нашли пачку фотографий, на которых он в эсэсовской форме позировал на фоне виселиц с повешенными советскими людьми. Громкое было дело. Оказывается, и семья у него была в том селе, но как стали наши приближаться, а немцы село оставили, он убил жену с детьми, взял один из припрятанных паспортов

казненных офицеров и переехал в наш поселок. Да и свою теперешнюю жену держал в страхе, терроризировал и ее, и детей. От стыда, после суда над ним, уехала женщина с детьми неизвестно куда.

В те времена часто случались подобные разоблачения. То ли преступники верили в свою безнаказанность, то ли что-то тянуло в места их преступлений. Трудно сказать, но далеко они чаще всего не уезжали. Хотя были случаи, когда предателей находили и далеко от тех мест, где они служили немцам. Помню, в 70-х годах весь Союз всколыхнул арест бывшего советского лейтенанта Поддубного в далекой Сибири. Далеко забрался он от Краснодона, где принимал участие в жестоких, нечеловеческих расправах над молодогвардейцами...

...Тянется нить моих воспоминаний, разматывается клубок моей сложной, порою тяжелой, жизни. Мно-

гое мне пришлось испытать-пережить. Не все хочется вспоминать. Но память услужливо подбрасывает эпизоды, и нет сил ей сопротивляться. Вот уж и дочери стали подрастать. Старшая выучилась в Фурманове Ивановской области на ткачиху и уехала работать в подмосковный Ногинск. Младшая в девятый класс пошла, молодец, учится хорошо, по дому да хозяйству помогает. А я все воюю с Алексеем да невесткой за свою маму. Во всем мама себе отказывала, боялась лишней кусочек хлеба съесть, голодом себя морила сознательно. Видишь ли, у нее со здоровьем совсем плохо стало, а больше всего энтероколит доставал. Порою и до туалета не добегала, а невестка брезговала, не разрешала у постели хоть какое-нибудь ведро ставить. Совсем расклеилась, когда от Тони телеграмма пришла о смерти Ивана. Тоня с Анатолием да сыном Валерой жила уже несколько лет в Ка-

захстане. Туда и Ивана забрала с его непутевую сожительницею.

Иван-то после возвращения со службы поехал в Донбасс, где и женился на замечательной женщине: она врачом работала, сына ему родила, была спокойным и уравновешенным человеком, любящей женой и заботливой матерью. Что уж там у них произошло, но только Иван как-то объявился дома у мамы. Какое-то время жил, словно во сне, потом устроился на работу, познакомился с Катей – женщиной веселой и беспутной, любительницей выпить и погулять. Она-то и приучила его к рюмочке. Бывало, вечером чуть не ползут домой, ругаются, даже дерутся, а утром – она с рюмочкой перед ним:

– Выпей, Ванечка, день начался. Опохмелись, чтоб голова не болела.

И все начиналось сначала. Сколько раз в скандале выгонял он ее из дому, вещи выбрасывал на улицу. Да

только он в одну дверь выбрасывает вещи, а она тут же подбирает их и заносит в другую дверь. Соседи часто такой концерт наблюдали. Горько маме было наблюдать их трагикомедию, вот она и пристала на предложение Тони, чтобы Иван уехал в Казахстан к ней в совхоз, где она с мужем работала. Думали, что его красавица не поедет с ним. Да не тут-то было! Увязалась и она. Клялась-божилась, что там вести себя будет хорошо, забудет пьянки-гулянки.

Иван там охотником стал работать, зверя промышлять в степи. Бывало, на месяц уходил в степь и никогда не возвращался с пустыми руками. Ценили его в совхозе. Новый дом дали. Зарабатывал он хорошо, обустроился. Но правду говорят: «Уродится кобылка с лысинкой, с ней и умрет!». Так и тут получилось. Ушел Иван в очередной раз на охоту. Долго его не было. А тут случилось, через совхоз цыгане табором проезжали. Катька

его и не устояла, завялась с каким-то пригожим цыганом, ушла с ним в табор. Возвратился Иван домой, а ее нет. Соседи тоже не промолчали, обо всем Ивану поведали. Видно этот случай оказался последней каплей в его терпении. Ушел Иван в степь. Никто не знает, о чем он думал, о ком вспоминал, сколько времени просидел и как пришел к своему страшному решению. Курил и думал, думал и курил. Видно, нелегко было ему решиться на такое. Застрелился он из своего ружья...

Случайно набрел на него пастушок, который пас там стадо. В страхе бросил он животных и кинулся в поселок:

– Тетя Тоня! Беда! Дядя Иван застрелился!

Подломились у Тони ноги, выпал из рук подойник, пролилось молоко, закричала-запричитала:

– Братик, братик, что же ты надделал! Как же мне маме о таком сказать?! Что же ты ко мне не пришел?

Катька вернулась домой в день похорон: избитая вся, аж до черноты, простоволосая и босая. Никто и не спрашивал, что случилось с ней. Но она сама всем рассказывала, что, как узнала про Ивана, «так упала и так билась, так билась об дорогу от горя...»

...Хоронить Ивана мама поехала с Витей...

Приехала домой еще больше похудевшей, прямой и несгибаемой в своем материнском горе. А я ничем не могла ей помочь. Только все звала к себе жить. Но она не соглашалась: Витя у нее был младшенький сын и любимый. Страдала за него, мучилась и жила рядом. Только иногда оставалась ночевать у меня. Тогда могла себе позволить и поесть вволю.

Как-то раз поздним летним утром выходила она из моего дома, а во двор незнакомый парень входит: высокий, стройный и какой-то встревоженный. Спрашивает, мол, тут такой-то живет. Мама отвечает:

– Тут. А тебе, зачем он, по какому делу?

– Сын, – говорит, – я его.

– Фрось, поди сюда! Ты смотри, кого я встретила-то! Сын Алексеев объявился!

Выскочила я на улицу, только и смогла спросить:

– Иван или Юра?

– Иван, – говорит.

Я-то знала, как зовут его детей, что у Полины были. Только не видела их никогда. Вот и спросила так. Растерялась, не знаю, что делать.

– Побегу, – говорю, – найду его. А то не знаю, когда он домой придет. А ты тут подожди.

Маму попросила побыть с ним, а сама побежала искать Алексея, сама

еще не представляя, где он может быть, и как я ему скажу о сыне. А он тем временем домой пришел, увидел во дворе незнакомого парня. Тот встал навстречу, поздоровался, а Алексей кивнул рассеянно и пошел в дом. Думал, что это охотник какой-то к нему по делу пришел. Алексей-то егерем работал, так к нему часто приходили охотники, знали его хорошо и его приветствие. Кивнул, значит, можно за ним в дом идти. А Иван подумал, что я Алексея встретила и настроила его против него. Повернулся Иван молча к калитке, слезы на глазах выступили, и медленно пошел прочь со двора.

– Алешка, ты, что же сына-то своего не признал!

– Какого еще сына? – повернулся он. А сердце уже тьохнуло, всколыхнуло еще неясные чувства, развернуло его к Ивану.

– Сын! Какими судьбами?

– Да вот, приехал посмотреть, от кого я родился, – обиженные льдинки бились в его голосе.

Пробыл Иван у нас три дня. Ревниво наблюдал за нашими отношениями, много времени проводил с нашей дочерью, словно не мог поверить в существование сестры. А, может, просто, не знал, как себя вести дальше. Отцом Алексея он так и не назвал. Уехал, как оказалось, навсегда. Больше он никогда не приезжал к нам. Зато в тот же год в один из зимних вечеров, когда снова у нас ночевала мама, раздался радостно-тревожный стук в дверь. Мама оказалась ближе к двери и открыла. Мы сидели в зале и с ожиданием смотрели, как следом за мамой входит парень с открытым приветливым лицом и сразу с порога:

– Пап, а я в гости приехал!

Мама повернулась к Алексею:

– Вот, Алешка, видно судьба у меня такая: сыновей твоих встречать.

Оказалось, что это, действительно, приехал его второй сын – Юра. Позже он частенько приезжал к нам. Привозил и свою старшую сестру, дочь Алексея, Нелю. С нею разговора не получилось вовсе. Она все пыталась ему доказать правоту матери, высказывала ее обиды. Кричали друг на друга, вспоминали то, чего не могла помнить сама Неля, что со слов матери «помнилось». Непримируемая и уехала.

После встреч со своими детьми от Полины Алексей совсем изменился. Раньше-то все гордился:

– У меня сыновья есть!

А тут вдруг такое. Глубоко тронули его эти встречи. Еще больше он стал тянуться к моей родне. Даже, когда мама жила у нас свои последние дни перед смертью, он, оставаясь дома с ней, помогал ей ходить «на ведро»: поднимал, сажал и держал, пока она не справит свою нужду. Не брезговал и ведро вынести.

Алексей всегда был в нашей семье суровым. Но, так уж вышло, что и защитить своих мог только он. Помню, переехали в Поньри Андрей с Марией и Юрой: сбежали от мужа родной дочери. Оставили в Донбассе ей дом. Ничего с собой не взяли. Спешили уехать, чтобы живыми остаться. Такой вот муж оказался у их Люси. Но и она долго с ним не прожила. Посадили его за разбой. А она продала дом и переехала в Дзержинск, где снова замуж вышла. Но и этот муж все силой похвалялся, ее родителей за людей не считал. Но как-то зимой приехали они к Андрею с Марией в гости в Поньри. Что там у них произошло, что не поделили, но схватился зять за топор. Выскочили Андрей с Марией из дому, а куда бежать, кто спасет? Да и то, время-то позднее, все уж спать положились. Много родни, много знакомых-приятелей, а прибежали к нам за защитой. Подхватились мы от торопливого, громкого, какого-

то заполошного стука в окно. Ввалились они в дом, лица на них нет.

– Спаси, Алексей, – умоляют, – Николай за нами гонится, порубит он нас.

Мария закричала-запричитала, заголосила-завыла. Детей наших переполошила. А тут и Николай к дверям:

– Всех поубиваю!

В двери рвется, топором рубить их начинает. Алексей ему:

– Уйди по-хорошему. Завтра разбираться будете, днем.

А тот беснуется-куражится. Трусом Алексея обзывает и другими непотребными словами. Не стерпел Алексей:

– Последний раз говорю: уходи по-хорошему, застрелю. – А сам ружье в руках уж держит. Не поверил Николай ему, снова в двери ломиться стал, потом по окну ударил: разлетелись стекла со страшным звоном.

– Ах, ты ж! Да я тебя! – только и сказал Алексей, да ка-ак жажнет с

двух стволов! Андрей посерел лицом, завизжала Мария, я повисла у него на руках, закричали дети. Николай шархнулся к стене, за угол дома. Штукетник перед домом разворотило полностью.

– Тише, тише, – говорит Алексей, – не в него целился-то. Ты что, думаешь, я убить его пытался? Так, пострадать только, – успокаивал он меня.

Но Николая это вмиг отрезвило. Когда кинулся за угол дома, шапку потерял. Двинуться не мог, чтоб поднять ее и уйти: из разбитого окна все было видно. А на улице мороз! Вдруг слышим дрожащий голос:

– Матвеич! Прости! – и не похоже на тот голос, какой угрожал тут всем.  
– Отпусти ты меня, ради Бога.

– Иди, кто тебя сюда звал.

– Боюсь я. А ну-ка, снова стрелять начнешь?

– Иди, говорю, да впредь знай, что со мною шутки плохи.

– Боюсь, Матвеич. Да и шапку я потерял. Замерзну, пока домой-то дойду.

– Я сейчас выйду к тебе, найдем твою шапку.

– Нет, нет. Я сам. Только ты уж не стреляй.

– Не буду. Только чтоб завтра духу твоего в поселке не было!

Переночевали у нас Андрей с Марией, а утром домой пошли. Только Николая с Люсей уже дома не было: уехали рано утром на вокзал.

И еще один случай был, который всем показал, что Алексей за справедливость умеет постоять. Вышел после десяти лет отсидки за то, что был у немцев полицаем, Иван Халатов. Вышел из тюрьмы и пришел прощения просить у меня и Федора покойного. Алексей еще ничего не знал об этом. Заходит Иван:

– Кума, можно ли войти?

Алексей и говорит:

– Входи, коль уж зашел. Кто ты?  
С какой вестью?

– Да вот пришел куму проведать.  
– И бутылку из кармана тянет.

Посмотрел на меня Алексей, говорит, мол, ставь на стол закуску, коль гость пришел.

Поставила я на стол, что у меня было, и молчу. Думаю, что дальше-то будет. Выпили мужики, Алексей и говорит:

– Ты вот мою жену кумой назвал. Объяснись, почему это я тебя до сих пор не видел. Где пропадал?

А тот давай свои обиды высказывать, что, мол, его ни за что, дескать, посадили после войны, что он ничего плохого никому не делал. Только и всего-то, что полицаем при немцах был. Не стерпел Алексей:

– Значит, говоришь, ничего не делал? А сюда, зачем пришел? Повиниться?

– Чего мне виниться? Я за свое уж отсидел. Теперь я такой же, как и ты.

Вскипел Алексей, сгреб его за грудки:

– Ты, – говорит, – падлюка, тут немцам прислуживал да над людьми издевался, а я на фронте кровь проливал! И ты считаешь, что мы равны? Такое не прощается! Вон из моего дома! Не хочу об тебя даже руки марать!

Выскочил Иван из дому, как ошпаренный. И после этого, сколько жил, все стороной старался обходить Алексея. В поселке все Алексея знали. Кто уважал, кто боялся...

Не думала я, что мама на моих руках умирать будет. Правду люди говорят, что человек все чувствует. Видно и мама почувствовала, что последние дни живет. Так получилось, что последнее время я и вовсе не в ладах была с Витей и Зиной. Прибегала к маме только тогда, когда их дома не было, чтобы поговорить с мамой, покормить ее. А тут как-то вижу, Витя подошел с ней к нашей калитке, поса-

дил на лавочку и поспешно ушел. Выскочила я:

– Что случилось?

– Ничего, – говорит, – можно я у тебя переночую?

– Конечно. А чего ты спрашиваешь?

– Да вот думаю: не стесню ли вас?

– Что ты такое говоришь! Первый раз, что ли?

Посидели мы с ней, как оказалось, в последний раз на лавочке, поговорили, а потом тихонько пошли в дом.

– Где ты меня положишь-то, Фрось?

– А ложись в зале. Там и кровать больше, да и светлее там.

– И то ладно.

Больше она не встала до самой своей смерти. Мучилась все, смерть к себе звала. А в последний день своей жизни вдруг сказала:

– Как же умирать-то не хочется! Пожить бы еще...

А спустя некоторое время, когда я подошла к ней, пожаловалась, что ноги мерзнут и тяжелые стали. Подняла я одеяло, а ноги синие-синие. Припала я к ее ногам, взвыла не своим голосом, поняла, что не встать ей больше, что уходит она из жизни. А она что-то сказать пытается мне. А, видно, речь-то уже отняло, никак не выходят слова у нее.

– Мамочка, – захожусь я в рыданиях, – что же ты говоришь-то? Я ж ничего понять не могу.

Посмотрела она на меня как-то странно, махнула рукой и отвернулась. Больше говорить не пыталась. Потом вдруг поднесла свои руки к глазам, а у нее ногти уж посинели. Вздохнула она, кое-как сложила пальцы в щепоть, перекрестилась, положила руки поверх одеяла и как будто что ими снимать стала с него. А тут соседка Лиза с Зиной пришли. Зина, как вихрь, ворвалась в комнату, ни на кого не глядя, кинулась к маме, упала

на колени перед кроватью, залилась слезами:

– Прости меня, мама, прости! – и все руки ее ловит, прижаться к ним норовит.

А Лиза:

– Фрось, смотри, обирается мать-то. Видать, отходит уже. Надо бы за Витькой послать.

А Витя в командировке был в каком-то селе. Не помню, кого послали за ним. Только приехал он, когда мама уже отошла. Уж как пытались продлить ей жизнь, чтобы сын ее живою застал! Но смерть неумолима.

Уж и не помню, как хоронили ее. Помню только, что народу было очень много. Даже тетка Прасковья приехала из деревни. Подвели ее к гробу, она так и осталась стоять около изголовья, опираясь на палку, совсем согнутая. Единственная из трех сестер-красавиц живая. Вскорости и ее Бог прибрал...

...Странные меня посещают воспоминания в последнее время. Мелькают в моей памяти дни и годы моей жизни. И все как-то вспоминаются печальные события чаще. Неужели я была несчастлива всю свою жизнь? Нет. Было и счастье, и любовь, и обычная радость. Только вот время было тяжелое в стране. Вместе со страной переживала и я, как многие люди вокруг меня. Вот и вспоминаются эти переживания.

Пусть и недолгую жизнь провела я на этом свете, но была все-таки удачливою и по-своему счастливою своим бабьим счастьем. И остаются после меня три мои дочери. У каждой есть муж – никто не обидит и никто не осудит. Растут у них дети и внуки – будет утешение и забота в старости. У каждой есть крыша над головой, и какой-никакой достаток в семье. А там уж, как Бог даст. Каждому поколению выпадает свой крест, свои испытания.

Думаю, что они достойно проживут  
свою жизнь.

Дай Бог вам счастья и радости,  
мои доченьки!..

*Литературно-художественное  
издание*

Лариса Алексеевна **Мазуркевич**

## **История одной жизни**

Подписано к выпуску 14.02.2017 г. Гарнитура Times New.  
Усл. печ. л. 7,44 . Зак. № 44.

---

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Донецкий национальный технический университет»  
Автомобильно-дорожный институт  
84646, ДНР, г. Горловка, ул. Кирова, 51

Редакционно-издательский отдел